

Дики адьгского прошлого



ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ выпуск 18 (130)

КАВКАЗСКИЙ ОФИЦЕР. ПЛЕН У ШАПСУГОВ

22 мая 1860 года я, вместе с колонной, отправленной из Шапсугского отряда (Шапсугский отряд был расположен при реке Иль и назначался в 1860 г. для действий за Кубанью, против шапсугов; отряд, находившийся под командой генерал-майора Рудановского, стоял верстах в 25-ти от Великолагерного поста) на пост Великолагерный (склад провианта, при реке Кубани), командирован был в город Екатеринодар, за получением из местной почтовой конторы простой и денежной корреспонденции для офицеров и нижних чинов батальона, в котором в то время находился я на службе.

23 мая, получив из почтовой конторы все что следовало, я в тот же день отправился в ближайшую к Великолагерному посту станцию Марьевскую, к одному из знакомых мне офицеров, у которого, в ожидании оказии, пробыл до 26 мая. Хотя во все это время у меня повторялись сильные пароксизмы лихорадки, однако, в ночь с 25 на 26 мая, поехал я на пост Великолагерный с тем расчетом, чтобы прибыть к утру и вместе с колонной возвратиться в отряд.

Я застал колонну уже готовой к выступлению. Сдав в батальон корреспонденцию, я, несмотря на убеждения товарищей ехать, по причине болезни, на повозке, отправился, как субалтерн-офицер, в цепи.

День был довольно жаркий. На полпути колонна остановилась для отдыха. Я сел между цепью и резервом правой цепи, примыкавшей к арьергарду, под небольшим кустом, держа за уздечку своего коня.

Трава была в рост человека. Выкурив папиросу и не слыша сигнала «движение», я встал посмотреть, где колонна. Она стояла на месте; солдаты сидели. Тогда я опять сел, привязав коня за куст, но в эту самую минуту почувствовал сильное кружение головы, сопровождаемое рвотой. Не могу определить, сколько времени продолжался мой болезненный припадок, но когда я очнулся, колонны уже не было.

Едва вышел я на дорогу, как вправо, на расстоянии полуверсты, близ леса, показались пять неприятельских всадников: они направлялись ко мне, держа винтовки наголо. Быстро вскочив на коня и не успев даже отвязать от седла нагайки, я поскакал во весь карьер по просеке в отряд, предполагая нагнать колонну. Всадники помчались наперерез мне; однако я успел опередить их на полуружейный выстрел. Преследуя меня, они девятым выстрелом ранили моего коня в ляжку задней правой ноги. Конь мой на всем скаку упал, а я бросился бежать влево от дороги в лес, надеясь или нагнать колонну, или скрыться в нем. Не тут-то было: три всадника, бросив коней своих, погнались за мной, по причине густоты кустарника, бе-

жать долго я не мог и, остановившись около довольно толстого дерева, стал защищаться шашкой. После полученной пятой, и самой сильной, раны в левую руку, я, без того уже изнеможенный, должен был уступить в неравном бою шапсугам. Меня тотчас же увезли в аул, вправо от дороги (по дороге я уже не видал моего раненого коня, но впоследствии узнал, что он добрался до колонны; эскадрон драгунов, шедший а арьергарде, заметив двух неприятельских всадников, ловивших коня, поскакал на место происшествия; но я был в это время уже в ауле).

Не доезжая до аула, шапсуги остановились, обыскали меня и, взяв находившиеся при мне в саквояже деньги, просили ломаным русским языком, чтобы я не говорил

никому о том, что они отобрали меня.

Шагах в тридцати от аула я был встречен пикетом из трех горцев, которые сидели за толстым деревом. Когда мы поровнялись с пикетом, двое из пикетных быстро бросились на меня и стащили с коня; один из них схватил меня за руку, другой за шею и так повели через широкий, довольно чистый двор, крича: «урус, урус!» пока, не впахнули меня в первую, попавшуюся на дворе, саклю.

Почти вслед за мной ворвалась в саклю толпа мальчишек, тоже кричавших: «урус, урус!» Я сел на пол, у стены, поддерживая раненую левую руку. Вскоре потом пришел старик и знаком велел мне следовать за собой. На дворе, в противоположной части сак-

ли, под двумя деревьями, сидели много вооруженных шапсугов. По приходе нашем все они быстро поднялись, уступая место старику (горцы, завидя старика, исключая байгуша – бедного), все встают с своих мест и не садятся до тех пор, пока не сядет старик). Старик сел на хазыр (ковер, сплетенный из камыша), посадив возле себя и меня; вслед затем уселась и вся поднявшаяся толпа.

Между сидевшими мужчинами и собравшимися тут же женщинами и девушками завязался оживленный разговор. Начался осмотр моих вещей. Принесли шашку, саквояж, вынули из него бумаги, карандаш, сургуш, печать, кремне, трут, огниво, кисет с табаком, папиросную бумагу и спички. Каждая вещь по нескольку раз переходила из рук в руки, была тщательно рассмотрена, и потом все уложено в саквояж.

Старик толкнул меня рукой и указывая на взявших меня в плен шапсугов и на мои карманы, говорил: «ахча, ахча!» т. е. деньги! деньги! Трое шапсугов, высунувшись, между тем из толпы, смотрели мне прямо в глаза, как бы умоляя не выдать их.

Во все это время мухи целым роем садилась на мои раны. Сколько я ни отмахивался, сколько ни прикрывал раны мои оставшимся у меня носовым платком, но наконец, выйдя из терпения, толкнул сидевшего возле меня старика и показал ему, обводя правой рукой около левой, что надобно перевязать руку. Жестами и словами старик дал мне понять, что просьба моя будет исполнена.

Действительно: не прошло и пяти минут, как все сидевшие встали, стоявшие расступились, и я увидел двух всадников, приехавших на одной лошади верхом. Оба они были вооружены только кинжалами. Косой всадник, сидевший позади, ловко спрыгнул с коня и, прямо подойдя ко мне, сказал: «здракуй!» «Здравствуй», отвечал я и прибавил:

– Послушай, брат, перевяжи, пожалуйста, чем-нибудь мои раны.



Рисунок Николая Семеновича Самокиша (1860-1944) на черкесскую тему

– Якши, якши (хорошо! хорошо!) и, переговорив немножко с присутствующими, уселся возле меня.

В ту же минуту марушки (девицы) засуетились, перебежали из одной сакли в другую, а две из них ушли в близлежащий лес.

– Черкес знай (знаешь ли говорить по-черкесски?) спрашивал меня косою шапсуг. Я сделал отрицательный знак головой.

– Турк знай? араб знай? англиз знай (знаешь ли говорить по-турецки, по-арабски и по-английски?) спрашивал он меня.

Я повторил тот же знак.

– Ияман, ияман (нехорошо!) произнес он протяжно, приподняв платок и осматривая раны: потом вынул из кармана небольшой складной ножик, тщательно осмотрел его, осторожно отпорол рукав сюртука, а вместе с тем и рукав рубашки.

Запекшаяся кровь замедлила ход операции. Наконец рукав был снят. Свежая кровь полилась из ран.

На зов косою шапсуга, марушка поспешно принесла из сакли небольшое корыто, десяток яиц, ложки три свежего коровьего масла, щепот соли и тряпки.

Почти вслед за ней пришли и уходившие в лес две девушки: они принесли пучок какой-то травы и деревянную ступку. Косою шапсуг разбил яйца, вылил их в деревянную ступку, положил две ложки масла, щепот соли, половину пучка травы и весь этот состав начал сбивать, что продолжалось около часа. Образовалась желто-зеленая жидкость, которую шапсуг помазал довольно густо длинную, но узкую тряпку и, не смывая крови, убинтовал тряпкою мою руку, не завязав однако ни одной раны. Потом, взяв кусочки хлопка и обмакнув их в состав, приготовленный таким же образом, но без соли, он вложил их в раны, перевязал тряпками и подтянул руку мою башлыком.

Во время перевязки, косою шапсуг, для поддержания сил моих, давал мне несколько раз пить воды.

По уходе косою шапсуга, взявшие меня в плен сняли с меня сюртук, панталоны, фуражку и, дав мне закусить пааста (каша), повели на соседний двор. Здесь закопали ноги мои в цепь, посадили меня на арбу, запряженную парой волов, и под конвоем повезли к горам, сопровождая поезд песней и выстрелами. Не помню слов песни, но она состояла из двух почти однозвучных слов. Шапсуг, сидевший со мной на арбе, начинал петь первое слово песни довольно протяжно; по окончании этого слова, он делал выстрел; ехавшие верхом живо подхватывали окончание слова, прибавляя к нему другое, делали выстрел, и т. д. Конвой состоял из пяти, гнавшихся за мной, шапсугов, и все, они, исключая одного, сидевшего со мной на арбе, были верхом. Тот, который ехал впереди арбы, заезжал на пути во все кутаны (хутора) и в ближайšie от дороги аулы, откуда возвращался

с толпой мужчин и женщин, которые принимались рассматривать меня, дотрагивались иногда до головы моей, удивлялись моим волосам (горцы бреют голову); но более всего их занимали мои походные, с длинными голенищами, сапоги. После этого первого осмотра начинался другой: с арбы снимались все мои вещи, показывались саквояж и все в нем находившееся, и в заключение один из конвойных сжигал спичку.

Меня привезли в аул Эмпсихиако, за Кубанью. Подъезжая к нему, передовой ускакал: конвойные запели, сопровождая песню выстрелами, и толпа вооруженных шапсугов высыпала нам навстречу, также с выстрелами. Меня посадили на довольно обширном и чистом дворе стоявшей на полугоре сакли, откуда отчетливо был виден весь лагерь Шапсугского отряда.

Было часов семь вечера. Некоторые из окружавших меня совершали вечерний намаз, после чего ко мне подошел невооруженный шапсуг и сел у ног моих. С ним долго говорил один старик.

– Слушай, брат – сказал мне невооруженный – они спрашивают тебя, кто ты такой. Стало быть урядник ли ты, офицер ли ты, аль драгун?

– Урядник, отвечал я.

Лишь только я произнес это слово, как один из шапсугов побежал в саклю и принес мое платье и саквояж.

Все присутствующие, в том числе и переводчики, начали рассматривать принесенное.

– Ты, брат, верно, беглый солдат? спросил я переводчика.

– Беглый, отвечал он.

– Давно бежал?

– Да лет пятнадцать будет. Эх, хотелось мне у тебя кой о чем порасспросить – говорит сквозь зубы переводчик, потупив в землю глаза – да, вишь ты, вот налево около тебя сидит старик: это, стало быть, князь аула, он мой хозяин; а вот, направо от тебя, молодой: это сын его, стало быть, этого старика. Он кой-что смыслит по-русски...

Молодой князь, до сих пор чертивший по земле обнаженным кинжалом, начал что-то очень скоро говорить переводчику, махая кинжалом.

– Вишь ты, он бранит меня, сказал сквозь зубы переводчик.

Посыпались расспросы: о числе в отряде войска и орудий, кто нас привел, кто командует отрядом, будем ли здесь крепость строить, пойдём ли далее или вернемся назад, зачем русские лес рубят и истребляют поля, какое войско: русское или черноморское? Не забыли ли расспросить и о Шамиле, прибавив, что Шамиль, хотя и взят в плен, но брат и сын его живут еще в горах.

В продолжение разговора старик-князь нередко напоминал мне о том, что мне теперь нечего бояться русских, что я должен говорить всю правду; за то меня скоро вылечат, а в противном случае убьют.

Стемпнело. В отряде начали показываться огоньки. Вдруг

взвилась сигнальная ракета и раздался вечерний, зоревой нашего отряда орудийный выстрел. Шапсуги вскрикнули: «Аллах, Аллах!», и некоторые из сидевших даже вскочили с своих мест. Расспросив, для чего в отряде каждый вечер стреляют из орудия, и, сказав, что на днях будет сделано нападение на отряд, старик-князь встал и тотчас ушел со двора. За ним последовали и прочие.

– Прощай, брат, прощай – говорил мне переводчик, подавая руку – не скучай, пой песни. Тут жить все равно, как в России. Потом, переговорив с двумя, оставшимися при мне шапсугами, прибавил: – Не бойся, брат: они скоро тебя вылечат; они лечат хорошо. Ну, прощай, брат, прощай.

– Прощай, прощай, отвечал я.

По уходе переводчика, оставшиеся со мной два молодых шапсуга отвели меня в саклю, уже наполненную женщинами и полунагими детьми.

– Тэс, мо тэс (садись, здесь садись!), говорил мне шапсуг, указывая на насыпь, сделанную из земли, при входе в саклю с левой стороны.

Я сел у самого огонька, тлевшего под трубой.

Когда, поужинав кашей, шапсуги разошлись, оставшийся со мной показал мне рукой, чтобы я лег на насыпь. Я последовал его совету; но сильная боль в руке заставила меня сейчас же встать.

Кое-как, жестами и отрывочными словами, я дал понять, что мне нужно подложить что-нибудь под руку. Шапсуг принес кусок от одежды и что-то вроде подушки. Лишь только я немного успокоился и стал забываться, как звук кандалов, в которые я был закован, пробудили меня. В то же время послышалось бряцанье железа вне сакли, и вошел молодой шапсуг, неся на плече довольно длинную цепь. Он сбросил ее возле меня. Другой шапсуг принес, между тем топор.

Прорубив в боковых стенках трубы и в противоположной от меня стене небольшие отверстия, оба внимательно осмотрели кольца, цепи, обмотали мне шею тряпкой, один конец цепи, составляющий два размыкающихся полукружия, надели мне на шею и замкнули их, а другой конец прорубленного в трубе и в стенке отверстие и, наконец, завязали на наружной стороне сакли. Когда я лег, мне не оставалось ни одного лишнего вершка цепи, так что голова моя находилась в полувисячем положении. Всю ночь я промучился от сильной боли в руке и от тяжести цепей. Шапсуги тоже не спали: при малейшем звуке цепей, они поднимались, раздували угасавший огонь и осматривали меня.

Настало утро. Совершив намаз, шапсуги расковали мне шею и повели в другую, на этом же дворе, саклю. Пробыв целую ночь в цепях, обесиленный от увеличившейся в ранах боли, я поднялся с трудом, еще с большим трудом,

едва переступая, в кандалах, добрался до сакли, где тотчас лег на насыпь у стены. Старушка принесла мне воды и каши.

Немного спустя ввалились в саклю человек до десяти шапсугов. После обычных приветствий гостям подали пааста и между ими и хозяевами завязался разговор, судя по частым их указываниям на меня, обо мне.

– Эй, слушай, брат, кто ты такой? спросил меня рябоватый, среднего роста, молодых лет шапсуг.

Вместо ответа я попросил перевязать мне руку.

– Погоди, брат – говорил он – вот приедет лекарь, так он сам сделает. Ты не бойся: они тебя вылечат. У них лечат не так, как у русских: у них лечат хорошо, больно хорошо.

Повторив первый свой вопрос, переводчик со слов сидевших, начал меня расспрашивать: откуда я, есть ли у меня отец, мать, братья и сестры? выкупят ли они меня и сколько за меня дадут денег? есть ли у меня товарищи и не выкупят ли они меня? При этом он предупредил, что если меня не выкупят, то я должен буду работать.

Потом пошли расспросы о числе войска и орудий в отряде, пойдут ли войска дальше в горы и скоро ли. Переводчик прибавил: «да и у нас здесь в каждом ауле есть орудие».

– Ты, верно, русский? спросил я его.

– Русский.

– Беглый?

– Нет, не беглый.

– Пленный?

– Нет, не пленный.

– Так зачем же ты здесь живешь?

– Затем, что здесь жить хорошо.

Мне очень хотелось продолжать разговор с переводчиком; но все сидевшие в сакле вдруг засуетились. Один из молодых шапсугов выбежал на двор и принес оружие, вслед за которым вошел в саклю старик, один из числа взявших меня в плен.

– Скажи, пожалуйста, что они хотят со мною делать? спросил я переводчика, когда один из шапсугов, расковав мне ноги и отвязав поддерживавший руку башлык, вместо которого подвязал веревку, опутал мне шею довольно крепко и порядочной толщины веревкой, потянул меня и приказал встать.

– Они знают что делают, отвечал переводчик.

– Гайда, гайда (пошел) дюр (частица усиления), говорил вооруженный с ног до головы молодой шапсуг, таща меня за веревку и передавая кандалы другому горцу.

Совершенно безоблачное небо и невозмутимая ничем тишина в воздухе предвещали жаркую погоду. По выходе из сакли, я взглянул, быть может в последний раз, на наш лагерь, который, после первого поворота вправо, скрылся из глаз. Пройдя полтростника, высокого роста, немолодых лет, безбородого, с орлиным носом шапсуга, того самого, который более всех

хлопотал при взятии меня в плен. Он, по-видимому, поджидал нас, потому что товарищ немедленно сдал ему меня. Едва заметная тропинка, по которой мы шли, пролегла через довольно большие балки, речки, горы, была усыяна мелким кустарником, и я, при всей осторожности, нередко цеплялся за кусты, отчего рука моя страшно ныла от боли. Изнуренный, задыхаясь от жары, я неоднократно садился перевести дух и с величайшими усилиями добрал к вечеру до довольно большого аула. Меня ввели в ближайшую саклю, довольно чистую и ярко освещенную пламенем горевших под трубой дров.

Стены сакли были увешаны камышовыми коврами, винтовками, шашками, пистолетами и кинжалами. На длинных, прикрепленных к крыше шестах висели различных сортов одеяла; у самых стен, на деревянной возвышенности, стояли различной величины, окрашенные красной краской сундуки с медными гвоздями. Вожатый мой посадил меня у стены близ огня, приказал снять сапоги, сковал мне ноги, потом вышел из сакли и, сделав выстрел, начал что-то кричать довольно громко, по прошествии не более получаса, сакля была битком набита мужчинами, женщинами, девицами и детьми.

Заметив в числе пришедших шапсуга, который перевязывал мне раны, я попросил сделать новую перевязку.

– Ну что, каково тебе? усмехнувшись, спросил меня по-русски сидевший с противоположной стороны белокурой шапсуг, когда перевязка была кончена.

– Плохо, брат: рука сильно болит, отвечал я.

– Ничего – говорил белокурой шапсуг – этот лекарь скоро тебя вылечат, если ты заплатишь ему.

В это время послышался гул вечернего зоревоего орудийного выстрела.

– Ты, брат, ешь, ешь – говорил мне белокурой шапсуг, указывая на принесенную пааста – они кормят хорошо. Они говорят, что ты джигит, стало быть по-ихнему джигит, а по-нашему молодец.

Вторую ночь плена я провел так же, как и первую, на цепи, прикованный за шею к стене. Тоже повторялось и в следующие дни. Меня переводили на веревке из сакли в саклю, из аула в аул, и везде служил я предметом живейшего любопытства. Днем у меня были скованы только ноги; но днем мне не позволяли спать: едва я смыкал глаза, меня сейчас же будили. Иногда выводили меня из сакли посидеть на дворе.

Однажды ночью, карауливший меня молодой шапсуг взял пистолет, подсыпал на полку пороха и, поставив возле себя винтовку, сел и долго смотрел на меня с озабоченным лицом. Несколько раз он осматривал шашку, кинжал, винтовку и пистолет, иногда к чему-то прислушивался, тихо отворял дверь и выходил на минуточку из сакли.

– Гатуля, Гатуля, говорил

он мне, указывая сам на себя пальцем, и потом спрашивал: – Урусюм ге? (по-русски как называется?) – ударяя меня по плечу – Степан? Иван?

– Степан, Степан, отвечал я.

После этого молодой шапсуг, обратясь ко мне со словом «Степан», начал что-то рассказывать, сопровождая свой рассказ различными жестами, размахиваями рук; на некоторых словам, он делал ударение, другие произносил по нескольку раз. Видно было его искреннее желание сделать рассказ для меня понятным. Судя по нескольким уже знакомым мне словам и по выразительным жестам горца, я сообразил, что шапсуг с рыжей бородой, приходивший в числе прочих в саклю и сидевший возле меня, ночью задумывал убить Гатулю, а меня украсть и отвести к русским, и что, опасаясь этого, Гатуля отвечает меня к какому-то Ибергаму.

На рассвете, по приходе в саклю двух шапсугов, Гатуля расковал меня, снял даже кандалы, потом, обрезав голеницы у моих сапогов, приказал мне надеть сапоги и, завязав мне на шею веревку, вывел в сопровождении двух своих товарищей. К полудню мы прибыли в аул, где на дворе, прилегавшей к речке сакли я увидел знакомые мне лица. Марушка, сидевшая у двери, подбежала к моему вожатому, взяла от него веревку и ввела меня в саклю, в которой, кроме спавшего в люльке дитяти и целого роя мух, не было никого. Посадив меня, она сняла с шеи веревку, принесла в небольшом корытце холодной пааста, уселась возле меня и многое что-то говорила мне с улыбкой, указывая на мою раненую руку. В это время пришла девочка, лет двенадцати и, сев, стала внимательно слушать, что говорила старшая.

Вынув из колпака своего табак и наложив трубочку, я попросил у девушек огня.

– Маржо (огонь), маржо? вскричали обе марушки. – Маржо? маржо? повторяли они, указывая на огонь.

– Маржо, маржо! говорил я. Меньшая марушка тотчас принесла огня.

– Шапсугом (по-шапсугски называется) ге маржо, продолжали они, указывая на огонь. – Урусюм ге? спрашивали они.

– Огонь, отвечал я.

– Огонь, огонь, повторяли марушки, громко смеясь.

– Кьетти, кьетти, говорили они, указывая на вбежавшую курицу. – Урусюм ге?

– Курица, отвечал я.

– Куритца, куритца, повторяли горянки с громким смехом.

Приход моих вожатых и еще незнакомого мне шапсуга, прекратил этот разговор. Первым делом девиц было передать его шапсугам, причем они повторяли слова мои по нескольку раз.

Гатуля, сев возле меня, заковал мне ноги и, показывая на немалых лет горца, произнес:

– Ибергам, Ибергам! Ибергам – козаин Степан, козаин Степан.

И Ибергам, мой хозяин, сказал, в свою очередь:

– Козаин Степан, козаин Степан, указывая на себя и на меня.

Вечером Ибергам сделал мне перевязку и ушел. Тогда обе марушки опять подсели ко мне и, указывая на разные предметы, спрашивали, как они называются по-русски.

Мне надоело отвечать им, и я стал накладывать трубочку; но девицы до тех пор не давали мне огня, пока я не сказал «маржо» и велел затем по-русски: «огонь».

Наконец пришла, до сих пор где-то скрывавшаяся, мать лежавшего в колыбели ребенка. Марушки, тщательно осмотрев цепь и обмотав кольцо сушонкой, заковали меня, закрутили цепь около ножки наглухо вколоченной в землю кровати и притянули к самой кровати мою голову, а другой конец цепи привязали к перекладине под крышей. После чего обе ушли, а женщина с малюткой перебралась на кровать, у которой я был прикован. Перед светом пришел Ибергам.

– Степан, пуф, пуф? (он воображал, что по-русски спать – значит пуф-пуф) спросил он.

Видя, что я не сплю, он расковал меня и, затворив дверь и окошечко, вынул из сундука отобранные у меня, при взятии в плен, деньги и стал расспрашивать о достоинстве десяти, пяти, трех и рублевых кредитных билетов.

– Степан, ахча? (т. е. это тоже деньги?) спрашивал меня Ибергам, показывая несколько почтовых марок.

Желая показать, что это не деньги, я одну из них бросил в пылавший огонь. Ибергам рассердился, начал кричать и чуть меня самого не бросил в огонь.

Несколько серебряных моих они считали вдвоем с женой. По окончании счета, деньги опять были спрятаны в сундук.

Вынув из того же сундука мой сюртук и отпоров галун и погоны, Ибергам отдал их утром двум марушкам, которые тотчас же начали примерять и нашивать их на свои колпачки.

Уже во второй раз серп луны показался на небе, во второй раз доходит он до полнолуния, а я все сижу, побрякивая цепями. Раны мои зажили; я здоров. Самая большая прогулка моя была та, когда выводили меня посидеть на чистый двор или в кунацкую саклю. Случалось, что утром, уходя на работу, шапсуги оставляли меня одного, прикованного к стене, в крепко запертой сакле, и беда, если, возвращаясь, заставляли меня спать. Ибергам нередко наделял меня за то толчками, да и жену угощал тем же, когда замечал, что она позволяла мне спать.

В одно прекрасное утро, после непрерывного двухдневного дождя, в саклю вошел старик-шапсуг, сопровождаемый своими двумя молодыми сыновьями.

Переговорив с гостем-стариком, Ибергам расковал меня, приказал мне надеть сапоги

и, завязав на шею веревку, передал кандалы одному, цепь другому молодому шапсугу, а веревку самому старику, и затем проводил нас со двора.

Меня привели в довольно большой аул и поместили в полуразвалившейся сакле. Сыновья старика находились при мне безотлучно. Вечером, обмотав мне плечо платком, они приковывали меня к стене; но было заметно, что молодые люди непритворно жалели меня, постоянно давали мне подушку и старались сделать так, чтобы цепь тяжестью своей не давила меня. С рассветом расковав меня, они приносили мне пааста, баранину, яйца, чюрек, сыр. Несколько раз, приносили свежие колосья жита и, высушив их на огне и очистив, давали мне зерна. Ежели кто-нибудь из них замечал, что у меня мало табаку, тотчас же отправлялся в аул и приносил табак.

Раз, оба караулившие меня молодые шапсуга ушли косить; вместо их сидела возле меня старуха, которая, на крик в соседней сакле мальчика, тоже ушла, оставив меня одного. Козы беспрестанно бегали мимо окошечка, возле которого я сидел. Некоторые из них останавливались, заглядывали в окно и продолжали делать прыжки. Я дал кусочек чюрека остановившемуся у окошечка козлу. Он просунул в окошечко свою рогатую голову. Я дал ему еще и еще, и наконец, когда уже у меня чюрека больше не стало, ударил козла рукой. Козел быстро отскочил назад и целиком выхватил рогами всю рамку окошечка.

Немного спустя возвратились оба молодые шапсуга и, заметив выбитое окно, стали, судя по выражению их лиц и по голосу, горько упрекать за намерение бежать, в котором заподозрили меня. После этого за мной стали смотреть строже и даже днем приковывали к стене, если в сакле не оставалось никого.

В девятую ночь пребывания моего в этом ауле, сделалась тревога: по лаю собак, вообразили, что русские вторглись в аул. На другой день за мной явился новый хозяин, огромного роста шапсуг и повел меня на веревке по направлению к плоскости и к нашему отряду. Последнее предположение я основывал на том, что мы постепенно приближались к огромной, выдающейся седлом горе, которая замыкала ущелье, где находился аул Эмпсихиако, при начале которого, на реке Иль, расположен был лагерь Шапсугского отряда. Наступил вечер. Влево едва слышно раздавался зоревой орудийный выстрел. Мы шли довольно ускоренным шагом и, пройдя по правому берегу реки Иль, круто повернули вправо, в лес. Здесь, на полугоре, стояла окруженная высоким плетнем сакля.

После нескольких ударов в ворота, на дворе послышался голос. Ворота отворились со скрипом, и мы вошли в довольно чистую, увешанную разного рода оружием, саклю. Вправо от входа, на кро-

вати, у самой трубы, под которой горел ярко огонь, лежал средних лет, раненый шапсуг. При входе нашем, он ухватился обеими руками за привязанную к крыше веревку, с помощью которой привстал и сел. Меня посадили в противоположной стороне от него и заковали ноги.

На другой день, чуть свет, в саклю собралось человек до десяти шапсугов, один из них сделал раненому перевязку, затем, по совершению всеми присутствующими утреннего намаза, больного посадили на коня и, поддерживая его, куда-то отправились. Меня оставили прикованного к стене, под караулом десятка мальчишек, которые, наперерыв один перед другим, надевали мои сапоги, бегали в них по двору и до тех пор таскали и бросали их, пока не отвалились подошвы. Возвратясь в саклю, мальчишки стали меня дразнить, дергали за руки и за ноги и наконец принялись бросать в меня, из противоположного угла, груши, пока на крик их не прибежала женщина.

Но вот раздался орудийный выстрел, потом другой, третий и т. д. По учащенным выстрелам, продолжавшимся почти до вечера, можно было полагать, что происходит порядочное дело.

Вечером шапсуги возвратились в довольно веселом расположении духа, в особенности больной, говоривший почти безумолку. Закусив, они вычистили оружие и начали готовить патроны. Один из них принес наше орудийное ядро, другой несколько нарезных пуль, из которых сейчас же начал лить пули для своего ружья. Из каждой нарезной пули выходило шесть ружейных пуль.

В этой сакле пробыл я не более пяти дней. В одно утро шапсуг-великан, расковав меня и, как прежде, повязав мне на шею веревку, повел в сопровождении другого шапсуга вверх по ущелью, орошенному рекой Иль. Всмотриваясь в знакомые вершины гор, я догадывался, что меня ведут опять к прежнему моему хозяину Ибергаму. Так действительно и случилось. Меня встретили те же самые марушки.

– Степан, Степан – говорил Ибергам – кушай якши? тутюн якши? пуф-пуф якши?

У Ибергама мне пришлось прожить много дней. Отправляясь с целым семейством в поле на работу, он брал иногда с собой и меня, заставляя носить в одну кучу сжатые снопы жита; иногда водил меня в ближайший лес собирать груши, но чаще оставял дома прикованным к стене и закованным в кандалы, под караулом мальчишек.

– Прими нашу веру: ты будешь мне вместо брата. Я буду любить тебя; не буду заставлять работать: если сам захочешь работать, работай, а не хочешь – сиди дома. Я дам тебе лошадь, корову, выдам за тебя дочь; мало одной жены: куплю тебе другую. А то видишь: ты сидишь в цепях; тебе трудно: да и я сколько работы упустил

через тебя. Теперь время рабочее: дома сидеть и караулить тебя мне нельзя, надо убирать хлеб. Русские видят, тебя не выкупят. Лето кончается, а о тебе никто и не навевывался. Присягни, что ты не уйдешь, перемени веру, и я тебя раскую.

Так говорил мне в один прекрасный день Ибергам, сидя со мной и с переводчиком, беглым молодым солдатом, под тенью стоявшего на дворе сарайчика.

– Ты теперь мой: я твой хозяин, продолжал Ибергам, когда я на все его убеждения отвечал решительным отказом. – Я что захочу, то с тобой и сделаю. Я убил здесь одного из моих товарищей, а потому мне здесь оставаться нельзя, и как только уберею хлеб, уйдем дальше в горы: там я тебя и продам кому-нибудь, а то променяю тебя туркам.

– Куда он ведет меня? спросил я переводчика, когда Ибергам после нашего разговора, повел меня со двора.

– Он заставит тебя на огороде работать, отвечал переводчик.

Пройдя аул, Ибергам привел меня в огород, засеянный кукурузой, и заставил оббивать ее. Солнце уже закатилось: два раза бросал я кирку, выбившись из сил, а Ибергам все понуждал меня работать, угрожая ногой. Наконец, работа прекратилась. Той же самой дорогой Ибергам привел меня домой и, заковав, оставил на ночь на дворе прикованным к стене сакли.

На другой день, с рассветом, Ибергам, со всем своим семейством, взяв с собой и меня, пошел опять в огород оббивать кукурузу. Вечно будет памятен мне этот день. Не довольствуясь ударами ногой, Ибергам колотил меня кинжалом, если я, изнемогая, на минуту переставал работать. По просьбе жены своей, он дал мне некоторое время отдохнуть, но за то, отправляясь домой, навьючил на меня всю выбитую за целый день траву, и лишь только я останавливался и сбрасывал с себя ношу, бил меня ногой. Кое-как дотащил я траву до сакли. Приковав меня опять к сакле, Ибергам вернулся наутро в веселом расположении духа, расковал меня, ввел в саклю, дал кусок баранины и, сев возле меня, начал рассказывать о том, что шапсуги покупают меня для размена на своих пленных. Желая разговор свой сделать вполне для меня понятным, он взял семь палочек, положил одну из них отдельно, а прочие шесть рядом, и, указывая на каждую, говорил: «шапсуг, шапсуг! чааля, чааля, чааля, марушка, гайда! Степан гайда!» Ибергам прибавил, что меня купят через три дня.

На ночь он опять приковал меня вне сакли, но дал на этот раз ковер, подушку и одеяло.

Ночь была лунная. Я не спал. Когда все притихло, из-за угла сарайчика кто-то быстро пробежал и скрылся за углом кунацкой сакли (кунацкой называется сакля, где прини-

мают гостей), откуда, стал высматривать и тихонько подошел ко мне. Видя, что я не сплю, незнакомец погрозил мне пальцем и начал осматривать цепь. В эту минуту хозяйская собака с лаем бросилась на него, и он исчез. Вслед затем выбежал, с винтовкой, Ибергам, обошел кругом сакли, осмотрел двор и лег возле меня.

Утром он сказал, что меня хотят украсть и продать абадзехам, а потому если кто-нибудь ночью подойдет ко мне, то чтобы и закричал.

Прошли три, четыре, пять дней, а Ибергам ни слова не говорил о размене. Я сам спросил его.

— Не продам я тебя шапсугам: я тебя продам лучше русским, был ответ.

— Толмач, толмач! закричала дочь Ибергама, указывая на проходившего мимо дверей сакли, уже знакомого мне переводчика, вслед за которым прошли два пожилых шапсуга, ведя за собой верховых коней.

Джемба, жена Ибергама, встретив гостей и привязав на дворе их коней, ввела в кунацкую. Туда же приказали идти и мне.

— Здравствуй, брат — сказал мне переводчик — вот и еще увиделся с тобой.

После расспросов, каково мне жителя, он со слов старика-гостя, с отбитым русской пулей носом, передал мне, что два сына этого безносого старика и один сын старика, рядом с ним сидевшего, взяты на Кубани в плен и теперь находятся в черноморском отряде генерала Баби́ча. Потому отцы приехали купить меня у моего хозяина и разменять на своих сыновей.

— Они привезли тебе бумагу — продолжал переводчик — ты напиши письмо генералу Баби́чу и проси его, чтобы он отдал за тебя трех человек ихних пленных.

Мне дали клочок бумажки. Заостренная палочка заменила перо; напечатанная каким-то черным составом и намоченная в воде тряпочка исправляла должность чернильницы.

Я начал писать. До тех пор дочь Ибергама, молча стоявшая у дверей сакли, быстро вскочила в саклю и вырвав у меня бумагу, начала кричать на переводчика.

— Она не позволяет писать без хозяина, сказал переводчик и пошел за ним.

До вечера мы сидели в кунацкой, поглядывая друг на друга. Изредка безносый старик напоминал мне о том, что купят меня для размена на своих пленных и скоро отвезут к русским.

Ночь разлучила нас. Гости остались ночевать в кунацкой, а меня отвели в саклю хозяина.

На другой день пришли в саклю Ибергам, Гатуля и переводчики. По приказанию Ибергама, на том же клочке бумажки, со слов безносого старика, передаваемых переводчиком, написал я письмо к генералу Баби́чу, с убедительной просьбой о размене меня на таких-то трех пленных шапсугов.

Начался торг. Собрались все

старики аула: судили, рядили, кричали, спорили, и, наконец, принесен был коран. Все внимательно выслушали речь муллы, после которой мулла передал коран рядом с ним сидевшему шапсугу, тот другому, другой третьему и т. д., пока коран не возвратился в руки муллы. Присяга была кончена; условие заключено.

— Козаин Магомет, сказал мне Ибергам, показывая на безносого старика.

Утром Ибергам выпроводил нас. После четырехдневного пути, переходя овраги, горы и леса по едва заметным тропинкам, на пятый день спустились мы на плоскость. Перед нами открылся ряд кутанов и аулов, брошенных жителями.

Приведя меня в опустелую саклю, один из шапсугов приказал мне просунуть ноги в выходящее на двор окошечко, связал их веревкой и, забив в землю между ногами кол, уехал.

До самого вечера, я и безносый шапсуг, оставшийся при мне, с одинаковым нетерпением ожидали возвращения уехавшего. Он привез обратно мою записку к генералу Баби́чу и меня опять привели к Ибергаму: оказалось, что пленные шапсуги находились не в отряде генерала Баби́ча, а в Екатеринодаре.

На другой день, утром, дочь Ибергама, отведя в кунацкую саклю двух приехавших шапсугов, приказала и мне идти туда же. Один из них показал мне исписанную карандашом бумажку, но прочитать ее не дал. Между тем, настал вечер. Я начинал уже дремать, прислушиваясь к однообразному, непонятному для меня разговору. Вдруг шапсуг толкнул меня, вынул спрятанную бумажку, развернул ее и, перервав вдоль на две части, подал одну из них мне.

На этой половинке, рукой моего батальонного командира, написано было карандашом: «...сылаю тебе бумагу и карандаш: пиши, каково тебе там жителя».

Взяв от меня обратно эту половинку, шапсуг передал другую, на которой было написано: «Любезный N ...! Подателю сей записки доверься во всем, что он тебе будет советовать, по...»

Взяв от меня и эту половинку, шапсуг дал клочок бумажки и кусочек карандаша и приказал написать ответ.

Не помню, что написал я. Гости уехали.

На другой день Ибергам, жена его и дочь, накормив нас всем, что было лучшего у них, и дав мне на дорогу несколько кусков чурека, выпроводили нас со двора. Насколько дней гнали меня по окраинам примыкавших к плоскости гор, останавливаясь ночевать в знакомых им кутанах и аулах, жители которых тотчас приходили к нам и забрасывали хозяев моих расспросами обо мне. Немало и бил меня хозяин мой, безносый шапсуг, если я, изнемогая от усталости, садился отдохнуть, и лишь после нескольких ударов ногойкой

сажали меня на коня или позволяли перевести дух.

Наконец погнали меня по совершенно ровному, широкому, довольно отлогому ущелью, в конце которого чернелась замыкающая ущелье конусообразная гора.

Под вечер мы пришли к этой конусообразной горе. Влево от нее, саженьх в десяти, находился крутой обрыв. Над самым обрывом шла стена, длиной сажень до пятидесяти, толщиной, приблизительно, в полтора аршина и вышиной до двух сажень, сделанная из двух плетней, набитых щебнем, и под тупым углом примыкала к конусообразной горе. В стене были амбразуры, а с противоположной стороны, из довольно толстых бревен, ворота.

— Цамесь каля (Крепость. Укрепление это уничтожено колонной, находившейся под командой принца Баденского, во время похода его в горы в зимнюю экспедицию 1860 года), цамесь каля! говорила мне окружающая толпа горцев, указывая на стены.

Вечером, когда в укреплении зажжены были костры, горцы, посадив против меня переводчика, начали спрашивать обо всем, что только приходило им в голову.

— Вот пускай русские придут сюда — говорил переводчик со слов шапсугов — мы их всех здесь перебьем. Видишь, тут человек двести будет; они день и ночь так и сидят, караулят русских. Дальше этого места они русских не пустят ни на один шаг.

— Кто ты? спросил я переводчика.

— Я из России, служил в артиллерии, в Анапе. Это было лет десять тому назад. Однажды я вместе с товарищами обокрал тамошнего купца: украли мы у него много всякого товара и денег. Товар зарыли в яму, а на денежки стали гулять, отчего и пало на нас подозрение. Нас заарестовали; но в первую же ночь ареста мы все бежали в горы. Вот с тех пор я и мыкаю здесь горе. Много, брат, я выходил по горам; не один раз перепродавали мои горцы. С товарищами своими я разлучился и не знаю, где они теперь и живы ли. Принял я магометову веру и зовут меня теперь Косанф. Купили мне жену....

До самого света проговорили мы с Косанфом. Я спрашивал его о горцах, о его жизни в горах, а он меня о том, что теперь делается в России, как там живут.

— Что бы со мной ни случилось — говорил он — так и бежал бы на родину, если бы знал, что меня не расстреляют за преступление. Жена моя, послушавшись рассказов моих о жизни русских, подговаривала меня бежать; но я боялся, не хочет ли она выпытать о моем намерении, и отказал ей наотрез. Раз — это было прошлым летом — несносная тоска напала на меня. Вспомнил я о родных. Долго, долго раздумывал, как бы пробраться за Кубань, и решился пуститься на волю Божию. Выбрал я для того темную ночь и, взглянув на

спавшую жену, вышел тайком из аула. На третью ночь я был на Кубани. Оставалось только переплыть на ту сторону. Вот тут-то и взяло меня горькое раздумье. Как меня примут? Что меня ждет? Какое наказание определят мне?... Испугался, брат, заплакал и вернулся к жене.

Утро разлучило нас.

— Мы с тобою скоро увидимся, сказал мне переводчик, провожая нас из крепости. — Ты будешь жить недалеко отсюда, в доме вот этого безносого старика. И буду к тебе приходить. Не горюй, брат, молись Богу: они скоро тебя разменяют.

Косанф точно навещал меня, пока я жил у безносого старика, во время его трехдневной отлучки.

— Скажи мне, пожалуйста, что это значит, что все переменилось ко мне с тех пор, как воротился хозяин? спросил я однажды Косанфа. — Бывало на ночь только заковывали меня, а теперь так по целым дням сижу в цепях. Есть дают мало; подушку отняли; спать не на чем.

Косанф вздохнул и завел другой разговор.

— Ничего, все пройдет! Молись Богу! отвечал он на мой вторичный вопрос. — Бог даст, тебя разменяют, если не на сыновей старика, так на других; а уж здесь тебя не оставят.

— Верно, на сыновей не разменивают меня? спросил я Косанфа.

Он молчал, как бы не слыша вопроса.

— Прощай, сказал он, наконец, уходя от меня. — Не унывай. Привыкнешь; будешь работать. Они тебя больше года не продержат в цепях, раскуют и только на первых порах будут за тобой присматривать. Что делать! надо покориться... Прощай же, брат! Мы с тобой больше не увидимся. Тебя завтра поведут далеко.

На другой день, с рассветом, сын хозяина моего вывел меня из сакли и, крепко завязав мне за спиной руки, повел по узкому, каменистому ущелью. Налево и направо возвышались громадные скалы. Вожатый мой, забежав вперед, прицеливался в меня из-за камня, показывая тем, что так будут стрелять горцы, если русские пойдут по этой дороге. Перебираясь через какую-то речку, а просил развязать мне руки, чтобы пить; но молодой шапсуг стал объяснять мне, что можно пить и не развязывая рук, стоя на коленях. Лишь только я стал на колени и наклонился к воде, как вожатый мой с громким хохотом толкнул меня в воду. Долго барахтался я и едва-едва выкарабкался.

Вечером молодой шапсуг сдал меня в кутане своим родственникам, из которых двое, на другой день, погнали меня далее. Спускаясь с горы, у подошвы которой был разбросан аул, мы встретили двух горцев, сказавших мне по-русски, что я буду разменен.

— Скажи нам — говорили они, идя вслед за нами — правда ли, что у нас новый

царь и что теперь прощает всех беглых, которые сами воротятся из гор?

Спросив меня потом, кто я и давно ли взят в плен, они сообщили мне о своем намерении бежать в отряд (действительно, оба беглеца вскоре вышли в Шапсугский отряд и рассказали обо мне моим товарищам).

Через два дня привели меня в только-что начинавший строиться аул бежавшими с плоскости шапсугами.

Наступили холода, показался снег. Я дрожу, сидя день и ночь в цепях у пылающего огня, в новой сакле старика-хозяина, который купил меня для обмена на своего брата и двух сыновей. Старик не дожил однако до этого. Он умер скоропостижно в ночь, и мне довелось быть свидетелем, как горцы оплакивают покойников. В течении дня, с раннего утра до позднего вечера, приходили в саклю знакомые и незнакомые. Не доходя шагов пятидесяти до сакли, они начинали голосить, а в самой сакле оплакивали все углы, все места, где покойный сидел, лежал или делал что-нибудь. Хозяйка же дома, чем бы она занята ни была, услышав вой, вторила плачущим и, обернувшись к стене, выла до тех пор, пока не уходила гости.

На пятый день после смерти старика, в довольно морозное утро, восемнадцать шапсугов повезли меня куда-то. На пути, из аулов к нашей партии присоединилось по нескольку человек, так что через четыре дня, когда мы выехали на плоскость, конвой мой увеличился до тридцати человек. Ни одной живой души не было в аулах, находившихся на плоскости. Мы остановились и слезли с коней.

— Степан, гайда! говорили мне сидевшие со мною у костра шапсуги под высоким деревом, на вершину которого взобрался один горец и смотрел вдаль.

— Гайда, гайда! повторяли они, показывая, чтобы и я влез на дерево.

Я влез и передо мной, как на ладони, открылся расположенный на реке Иль лагерь Шапсугского отряда. Вдали, по направлению к отряду, показался всадник. Мы отправились к нему.

— Ты мне должен дать, по крайней мере, пятьдесят рублей за мои хлопоты, сказал мне всадник, переговорив с конвоировавшими меня шапсугами. — Тебя разменивают.

Взяв с собой одного из сопровождавших меня шапсугов, я приехал к прямо в отряд.

— Какой теперь месяц, господа, спросил я, сидя в палатке одного из окружавших меня моих товарищей.

— 26-е ноября, отвечали мне. — Как раз шесть месяцев в плену у шапсугов!

Кавказский офицер.
14 мая 1864 г.
Публикуется по изданию:
Кавказский офицер. Плен у шапсугов // Военный сборник. 1864. N 11. Отд. 2. С. 197 — 218.